

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

У.Т. Фитч. Эволюция языка / Пер. с англ., науч. ред. и послесл. Е.Н. Панова; послесл. А.Д. Кошелева. М.: Языки славянской культуры, 2013. 768 с. ISBN 978-5-9551-0660-1

Уильям Текумзе Фитч – американский когнитивный биолог, ныне профессор Венского университета, занимающийся эволюцией когнитивных способностей и коммуникацией (особенно вокальной) у животных и человека, автор многочисленных исследований по анатомии голосового аппарата млекопитающих, в том числе приматов, и птиц. В центре его научных интересов – возникновение языка и, как ни удивительно, музыки. Его монументальный труд, опубликованный в русском переводе через три года после его появления в издательстве «Cambridge university press» в 2010 г., – одна из самых серьезных и полных сводок фактов, относящихся к глоттогенезу, – без сомнения, лучшая из всех, что опубликованы на русском языке. Впрочем, уже после выхода оригинала появилась целая энциклопедия по происхождению языка, включающая статьи 65 авторов и охватывающая почти весь спектр мнений [Tallerman, Gibson 2012].

Книга Фитча состоит из четырех частей. Первая из них представляет собой введение в проблему глоттогенеза. Автор продолжает свои давние попытки примирить теорию Н. Хомского с дарвинизмом (как известно, он даже опубликовал две статьи в соавторстве с Хомским [Hauser et al. 2002; Fitch et al. 2005]). Фитч утверждает, что «истинный Хомский» совсем не похож на ту карикатуру, которую на него рисуют. Насколько это так – судить трудно, поскольку не вполне понятно, о каком Хомском – прежнем или нынешнем – идет речь. То, что в прошлом он придерживался в вопросе о глоттогенезе откровенно антидарвинистских взглядов, – общеизвестный факт. В последние же годы Хомский действительно сделал ряд серьезных уступок и в своей «минималистской программе» отступил на позицию FLN (faculty of language in the narrow sense). Теперь он полагает, что у языка есть лишь одна уникальная

черта – способность к рекурсии. Все прочие черты попадают в категорию FLB (faculty of language in the broad sense), и ими можно жертвовать, поскольку они проявляются и у животных, по крайней мере в экспериментах. Поэтому к FLB **оказалось причислено и использование символов**. Эта уступка – на мой взгляд, самоубийственная – ослабила позиции не только самого Хомского и его сторонников, но и всех приверженцев идеи качественно своеобразия языка. Соответственно, она укрепила позиции противников этой идеи – градуалистов, к которым, как будет видно из дальнейшего, относится и У.Т. Фитч. В терминологическом же плане разделение понятия «язык» на две части лишь создало путаницу, поскольку теперь каждый раз нужно пояснять, какая именно языковая способность – FLN или FLB – имеется в виду. По существу, речь идет об уступке обыденному словоупотреблению, ведь разговоры о «языке животных» никогда не прекращались¹.

Впрочем, градуализм автора очень умеренный. Он четко отделяет язык как открытую (open-ended)² систему от СКЖ, свойством открытости не обладающих. «Долгое время изучая коммуникацию у самых разных видов

¹ В дальнейшем слово «язык» будет употребляться лишь по отношению к человеческому языку, отличие которого от систем коммуникации животных (далее – СКЖ) состоит, конечно, не только в рекурсии, но и, в первую очередь, в использовании символов (обоснование этого взгляда см. в работе [Козинцев 2013a]).

² С.А. Бурлак [2011: 66–67, 82] переводит термин «openness» как «достраиваемость», тогда как Фитч употребляет в качестве синонима термин «продуктивность», распространенный и в русской литературе.

позвоночных, – пишет он, – я склонен соглашаться, что человеческий язык качественно отличен от средств коммуникации у животных. В самом деле, если следовать приведенному определению языка, ни одну из коммуникативных систем животных нельзя считать языком» (с. 203). Автор признает, что «нет никаких логических или эмпирических оснований считать, что язык *должен* был возникнуть из некой “протоязыковой” коммуникации, которая могла бы, гипотетически, использоваться общим предком человека и шимпанзе» (там же). Это выгодно отличает позицию Фитча от позиции последовательных градуалистов, утверждающих, будто дарвинистский подход к проблеме глоттогенеза якобы априори исключает идею качественной грани между системой коммуникации наших ближайших предков и языком³.

Далее автор обсуждает возможность применения эволюционных принципов к возникновению языка. Наиболее важными в этой связи он считает два понятия. Первое из них – «экзаптация», или «смена функций»⁴, второе –

³ Напрямик, С.А. Бурлак [2013: 393–394] пишет: «Совершенно невероятно “непреодолимая пропасть” и в эволюции языка: мутант, наделенный качественно новой коммуникативной системой, не сможет нормально общаться даже с собственной матерью (чья коммуникативная система радикально отличается от его собственной) и, вероятнее всего, быстро погибнет... Если коренная ломка и случилась в какой-то из группировок гоминид, то эта популяция должна была неминуемо прекратить свое существование». Опровергнуть эти аргументы легко. Во-первых, качественное отличие новых знаков (символических) от старых (индексных) не создало никакой коммуникативной пропасти – ранние гоминиды вполне могли использовать и те и другие. Даже в нашем общении индексные знаки – междометия, мимика, смех и др. – продолжают сосуществовать с символическими. Во-вторых, язык поначалу не должен был контролироваться генетически. Лишь когда группы, перешедшие совместными (а не индивидуальными!) усилиями к символизации, стали успешнее прочих, мозг начал перестраиваться под действием естественного отбора (в биологии генетическое закрепление полезного навыка именуется «эффектом Болдуина»). В-третьих, и отбор шел на групповом уровне, причем выгода от языка была столь огромна, что «неминуемо прекратить свое существование» должны были группы, им не пользовавшиеся.

⁴ Фитч связывает это понятие с именами С. Гулда и Э. Врбы, хотя за сто с лишним лет до них данный принцип был сформулирован А. Дорном [Dohrn 1875].

«надстройка» («spandrel», по С. Гулду). В обоих случаях речь идет о том, что язык мог возникнуть в результате отбора на какое-то иное качество, в виде побочного следствия, на базе старых функций и структур.

Инкапсулирована (модулярна) ли языковая способность, то есть жестко ли она закреплена в мозгу и, соответственно, узко ли она специализирована? Идея модуля, которую отстаивал Н. Хомский по отношению к языку, была распространена С. Пинкером на все когнитивные механизмы. По мнению Дж. Фодора, инкапсулирован лишь синтаксис, но не семантика и не прагматика (это мнение близко к минималистской программе Хомского). Некоторые же нейролингвисты, в частности М. Доналд и Т. Дикон, отрицают модулярность и по отношению к синтаксису. Позиция Фитча по данному пункту промежуточна. Он сравнивает языковую способность со способностью птиц к полету: в обоих случаях способность как таковая генетически обусловлена, но реализоваться может лишь при условии тренировки. У детей такой тренировкой является лепет. Между тем смех и плач не требуют тренировки и в этом смысле вполне модулярны. Еще одна параллель – категориальное восприятие звуков, обнаруженное и у некоторых животных (но не у шимпанзе!), а у человека принимающее форму фонематического членения речевого потока.

Казалось бы, подобные зоологические аналогии укрепляют позицию градуалистов. Возникает, однако, вопрос: быть может, именно данные аспекты не являются основополагающими для языка? Исключив их, мы не рискуем остаться ни с чем – напротив, грань между языком и СКЖ станет более четкой. Сам Фитч признает, что у языка есть по крайней мере одна отличительная черта – способность порождать пропозиции, имеющие параметр истинности. Он признает, что СКЖ данным свойством не обладают⁵. На мой взгляд, это прямое следствие того, что животные, в отличие от человека, не пользуются символами в естественных условиях.

Что же касается ключевой для понимания сути языка проблемы референции, то здесь взгляды Фитча довольно противоречивы. С одной стороны, он признает, что преемственности между звуковой коммуникацией обезьян, почти не поддающейся волевому контролю,

⁵ Более последовательные градуалисты, правда, могли бы возразить, что заведомо ложный сигнал, подаваемый животным из хитрости, можно при большом желании истолковать как пропозицию со скрытым негативным модусом (ср. [Фридман 2012: 47]). Это, однако, слишком очевидная натяжка.

и человеческой речью не существовало. Комбинаторика сигналов, внешне сближающая их с речью, у высших обезьян отсутствует, и, следовательно, ее наличие у других животных не имеет отношения к плоттогенезу. Практически отсутствуют у наших ближайших родственников и референтные сигналы. Что же касается низших обезьян, то Фитч не разделяет оптимизма ряда когнитивных биологов по поводу референтности их тревожных криков, различающихся в зависимости от категорий хищников. «Реципиент (сигнала) может сделать правильное заключение о внешнем мире, хотя передача этой информации и не входила в намерения особи, подавшей сигнал. Современные исследования коммуникации животных приводят к удивительному выводу: вся эта коммуникация, видимо, попадает в данную категорию – информирование о внутреннем состоянии, но не преднамеренное» (с. 221; цитирую по с. 191 оригинала – в переводе последняя фраза опущена). Для сторонников идеи качественной грани между языком и СКЖ (и, следовательно, между человеком и животными) ничего удивительного в этом выводе нет. Удивительным он становится лишь в устах того, кто требует «покончить с давними декартовскими притязаниями на доказательство уникальности человека» (с. 174). Может быть, если не отвергать эти притязания столь решительно, то и удивляться придется меньше?

С другой стороны, Фитч пытается уменьшить разрыв между звуковыми сигналами обезьян и речью. Он пишет, что крики тревоги обезьян нельзя считать автоматичными, поскольку им свойствен «эффект аудитории» – животные кричат лишь в присутствии других особей, иногда даже конкретно родственников или представителей противоположного пола. Но почему реакцию на хищника можно считать автоматической, а на особей своего вида – нет? В обоих случаях выработанная отбором «разумность» коммуникации – всего лишь метафора, созданная людьми по образу и подобию их собственного общения.

При обсуждении моделей референции Фитч также антропоморфизует общение животных. Он сравнивает две модели – реалистическую (предполагающую непосредственную связь между сигналом и референтом) и когнитивную, согласно которой сигнал и референт связаны через денотат. В последнем случае возникает семиотический треугольник, который, как казалось очевидным после Соссюра, и представляет собой главное отличие языка от СКЖ. Но когнитивные биологи, к которым принадлежит и Фитч, считают реалистическую модель наивной. Они сомневаются, что прямая связь «сигнал – референт» (индексная связь, по

Ч.С. Пирсу) вообще возможна, и применяют когнитивную модель не только к языку, но и к СКЖ. Иными словами, когнитивные биологи, вопреки как Пирсу, так и Соссюру, приписывают животным использование символов и, соответственно, язык.

В защиту такого взгляда Фитч указывает, что у животных есть умственные репрезентации. В этом никто не сомневается, но дело в том, что, не будучи коллективными и, соответственно, зафиксированными в символах, эти репрезентации не могут играть коммуникативную роль, то есть превращаться в денотаты. Они существуют сами по себе, а коммуникация происходит сама по себе – по реалистической модели, напрямую связывающей знак-индекс с референтом без участия денотата. Л.С. Выготский назвал это «доинтеллектуальной стадией в развитии речи». Соотнесенность сигналов некоторых видов животных, в частности, низших обезьян, с референтами вполне вероятна (хотя сам Фитч это отрицает, см. выше), но никакой денотативностью эти сигналы не обладают. И инстинктивная, и условно-рефлекторная коммуникация происходит в автоматическом режиме, без участия сознания. А это значит, что и адресанты, и адресаты сигналов пользуются типичными индексными знаками, а не символами. Сходство такой системы общения с языком чисто внешнее. Попытка Фитча доказать, что его взгляды являются неизбежной альтернативой бихевиоризму, или, как он выражается, «призраку Скиннера, вновь поднимающему голову в спорах о животных» (с. 174), представляется мне подтасовкой. Биологизируем ли мы коммуникацию людей, антропоморфизируем ли коммуникацию животных, результат один – качественная специфика языка исчезает, сколько бы ни декларировать обратное.

Предпосылкой языка Фитч считает так называемый механизм совместного внимания и способность к метареференции (theory of mind), создающую предпосылку для рекурсии. И то и другое есть у шимпанзе, но пользоваться этими способностями кооперативно они не могут или не хотят. То, что человек в данном отношении радикально отличается от высших обезьян, убедительно показано в книге М. Томаселло [2011]. Очень существенно, что у высших обезьян, в отличие от низших, нет референтных сигналов, хотя их интеллект несравненно выше. Это отсутствие параллелизма между когнитивным и коммуникативным развитием, отмеченное еще Выготским, следует, на мой взгляд, толковать не просто как проявление их независимой эволюции, а как принципиальную несовместимость высокого интеллектуального уровня с врожденными референтными сигналами (подробнее см. [Козинцев 2013а]).

Автор прав, считая одной из главных черт культуры кумулятивность. Никаким животным, даже тем, у которых отмечена внегенетическая передача традиций, эта черта не свойственна, что, впрочем, не мешает Фитчу отдать дань бытующей у приматологов привычке говорить о «культурах шимпанзе». Отмеченное автором отставание коммуникативных способностей от когнитивных у шимпанзе и связанное с этим отсутствие у них культуры – это и есть то, что Выготский назвал «доречевой фазой» в развитии интеллекта». По словам Фитча, «животные обладают весьма богатым внутренним миром и в то же время на удивление малой способностью выразить то, что у них в голове, в форме коммуникативных сигналов» (с. 176–177).

Во второй части приводится обзор археологических и антропологических данных, потенциально имеющих отношение к глоттогенезу, высказываются общие соображения о социальной структуре ранних гомининов и о том, почему именно такая структура могла служить предпосылкой возникновения языка. В заключение автор честно признает: «Что касается эволюции языка, то тут многого сказать нельзя» (с. 327). По его мнению, *Homo erectus* обладал неким протоязыком, но этот вывод базируется на чисто умозрительных соображениях, представляя собой компромисс между предположениями о том, что эректусы владели развитой речью, и о том, что речи у них не было даже в зачатке. Фитч допускает, что первыми говорящими существами могли быть сапиенсы, но и в этом случае причины громадного зазора между появлением последних (более 150–200 тыс. лет назад) и верхнепалеолитической революцией, ознаменовавшейся резким взлетом символизации (менее 40 тыс. лет назад), остаются для автора непонятными. На мой взгляд, попытки синхронизировать этапы антропогенеза (в частности, глоттогенеза) и развития человеческой культуры обречены на неудачу. Возникновение человека и языка создало лишь условия для резкого подъема культуры, но для того, чтобы эти условия могли реализоваться, понадобился весьма значительный срок [Козинцев 20136].

Третья часть посвящена эволюции звуковой речи. Эта часть наиболее ценна, так как автор внес существенный вклад в изучение вокализации животных и эволюции голосового тракта. Новые методы, в частности рентгенография животных *in vivo*, помогли обнаружить то, что не было видно при вскрытии трупов, и тем самым скорректировать устоявшиеся представления. Так, гортань и корень языка у животных, в частности собак, свиней и низших обезьян, не фиксированы, как принято было считать, а опускаются перед вокализацией, динамически приближая голосовой аппарат к «человеческо-

му» состоянию. У человека гортань опущена постоянно, но то же самое относится, например, к оленям и крупным кошачьим. Олени, правда, отличаются от людей тем, что у них подъязычная кость прикреплена к черепу, зато у крупных кошек голосовой аппарат во всем похож на наш – и гортань опущена, и подъязычная кость не фиксирована.

Данные факты могли бы обнадежить градуалистов, но беда в том, что у шимпанзе эти прогрессивные черты отсутствуют. А так как крики львов и пантер имеют мало общего с человеческой речью, Фитч справедливо заключает, что рассматривать перечисленные особенности только в качестве адаптаций к речевой функции, видимо, нельзя. Рассматривая разные анатомические индикаторы речи, автор отвергает их один за другим и в итоге останавливается на одном единственном – расширении спинномозгового канала грудных позвонков, что указывает на лучшую иннервацию мышц грудной клетки, свойственную современному человеку. У раннего эректуса из Турканы этой особенности еще не было, зато у неандертальцев – была.

Хорошая иннервация грудной мускулатуры особенно необходима при пении. Но имитация звуков у млекопитающих, в отличие от птиц, – явление очень редкое. К этому способны лишь некоторые морские животные, возможно, летучие мыши и, как недавно выяснилось, слоны, но не обезьяны. Как отметил еще Т. Дикон, соперничать с человеком в этом отношении из всех млекопитающих способен, вероятно, только тюлень.

Явление, аналогичное детскому лепету (это важная фаза в усвоении языка), обнаружено у птенцов и у некоторых низших обезьян, но и эта прогрессивная черта у шимпанзе отсутствует. В книге Фитча на чрезвычайно богатом материале иллюстрируется то, что уже давно известно специалистам по глоттогенезу: качественное различие между человеком и животными (в частности, обезьянами) заключено не в строении речевого аппарата, а в строении мозга. Именно по причине отсутствия коркового (т.е. произвольного) контроля над мышцами гортани невозможно обучить обезьян каким-либо звукам. Птицы в этом отношении ближе к человеку, чем обезьяны, и, кстати, гомолог гена *FOXP2* у них связан с пением. У обезьян из всех движений рта лишь пережевывание пищи и причмокивание, которое самки издают, желая почистить шерсть самцу-доминанту или понянуть чужого детеныша, подчинены волевому контролю. Это заставило П. Макниледжа высказать предположение (Фитчу оно кажется убедительным, мне – нет), что речь могла возникнуть на базе этих движений путем смены функции.

В четвертой части дается очень полный, но все же не исчерпывающий, исторический обзор моделей эволюции языка начиная с И.Г. Гердера. Фитч не упустил из вида незаслуженно забытую теорию Людвигу Нуаре, подчеркивавшего важность взаимопомощи как фактора возникновения речи (его идеи затем развил М. Томаселло без ссылки на Нуаре)⁶. Имя Ф. Энгельса, сформулировавшего социально-трудовую теорию одновременно с Нуаре, конечно, не упоминается. Фитч повторяет распространенную ошибку (см. выше), связывая идею качественной грани между языком и СКЖ с антидарвинизмом. Макс Мюллер, с которым он в данной связи спорит, действительно выступал против учения Дарвина, но И.П. Павлова, отстаивавшего идею грани, упрекнуть в этом трудно (его имя Фитч также не упоминает).

В свете современных данных, – заявляет автор, – «“Рубикон” Мюллера сужается до узенького ручейка» (с. 426). Но какие данные он имеет в виду? В основном те, которые, как ему кажется, опровергают мнение Мюллера о неспособности животных образовывать понятия. Если бы речь шла о высших обезьянах, особенно тех, что усвоили символы от людей, к такой критике можно было бы присоединиться. Но Фитч оспаривает эту идею и по отношению, например, к насекомым, которые якобы пользуются не только частными, но и «гораздо более абстрактными понятиями типа “внутри” и “идентичность / различие”». Такие «понятия» можно при желании приписать и растениям, и даже неодушевленным предметам⁷. Подобно многим когнитивистам, Фитч, видимо, полагает, что обобщение стимулов и образование понятий – одно и то же.

Совсем несостоятелен, даже самоубийствен, «рекапитуляционный» аргумент, выдвигаемый Фитчем против Мюллера: если дети начинают с нечленораздельных выкриков, а потом постепенно начинают говорить, то почему такую же постепенность нельзя предположить и по отношению к филогенезу речи? Ошибка Фитча очевидна: подобно другим когнитивным этологам, он путает постепенность замены старых сигналов новыми с преемственностью между теми и другими. И у детей речь отделена от первосигнальной системы тем же Рубиконом,

⁶ В дальнейшем теорию Нуаре иронически именовали «yo-heave-ho theory» (теория «разда, взяли!»), что в русском издании книги Фитча переведено как «теория “ё-хев-хо”».

⁷ Как пишет по сходному поводу Р. Харрис, с таким же успехом можно заявить, что у дверного звонка есть понятие «палец». «Какой умный звонок! Ведь пальцы разные» [Harris 2007].

который автор пытается отрицать. Нет никаких оснований думать, что в филогенезе было иначе. Дети не могут перейти языковой Рубикон без помощи взрослых. А от кого было ожидать помощи нашим предкам, как не друг от друга?

Но если вторая сигнальная система не могла возникнуть на базе первой, то как же она возникла? Здесь мы вступаем в область догадок. Фитч рассматривает три модели протоязыка. Согласно одной из них (Л. Нуаре, Г. Хьюс, М. Корбаллис, М. Томаселло, М. Арбиб), протоязык был жестовым, согласно другой (П. Либерман, Т. Гивон, Д. Бикертон, Р. Джекендофф) – лексическим, без синтаксиса. На мой взгляд, первая модель теоретически предпочтительнее. Действительно, высшие обезьяны, в частности наши ближайшие родственники – шимпанзе, способны контролировать жесты, но не голос. Поэтому самая простая гипотеза, требующая наименьшего числа дополнительных допущений, состоит в том, что коммуникация с помощью символических жестов была изобретена кем-то из наших предков и затем распространилась подобно любому полезному навыку⁸. После этого структурная (синтаксическая) организация символов была лишь вопросом техники и времени. Биологическая же фаза глоттогенеза началась лишь после того, как наши предки стали дополнять жесты голосовыми сигналами (так думал Л. Нуаре) и возникла потребность выработать произвольную (корковую) систему их контроля. Уже после выхода книги Фитча эта идея получила подкрепление со стороны данных нейронауки, свидетельствующих о связи репрезентирующих жестов (их нет у обезьян) с изготовлением орудий, вероятно, путем активации зеркальных нейронов при подражании [Cartmill et al. 2012].

Фитч, однако, считает наиболее правдоподобной третью модель, согласно которой протоязык был полумузыкальным (просодическим). Он пишет, что идея песенного протоязыка впервые высказана Дарвином, но на самом деле она обсуждалась уже в XVIII в.⁹

⁸ В сущности, так и мыслил это Л.С. Выготский, имя которого в книге не упомянуто: «Между чем и чем двдвигается знак: между человеком и его мозгом». С тех пор «человек управляет мозгом, а не мозг человеком» [Выготский 2005: 1026, 1033].

⁹ Ср. у Гердера: «Следовательно, если первым языком человека было пение, то пение это было для него настолько же естественно и настолько соответствовало его органам и природным инстинктам, насколько пение соловья – естественно для этой птицы...» [Гердер 2007 (1770): 149].

В XX в. данная теория была развита О. Есперсен¹⁰, труд которого о языке Фитча разбирает особенно подробно и сочувственно, а в более позднее время – Ф. Ливингстоном (автором статьи «Пели ли австралопитеки?»), С. Майсенем, выпустившим книгу «Поющие неандертальцы», и некоторыми другими авторами. Согласно Есперсену, поначалу смыслом были наделены лишь целостные высказывания-песни (голофразы), а затем они стали члениться на все более мелкие значимые сегменты. Так возникли фонология и синтаксис. По поводу этой гипотезы можно сказать то же, что и по поводу гипотезы лексического протоязыка. Высшие обезьяны не способны ни к произвольному контролю голоса, ни даже к произвольной имитации звуков. Так почему же именно данные способности, отсутствующие у наших общих предков, должны были стать первыми средствами символизации? Не проще ли предположить, что задача была поначалу решена с помощью доступных средств (жестовых), а уже потом – с помощью новых (голосовых)? Ссылку на важную роль пения в жизни современных людей («Чем были бы Рождество без хорала, день рождения без “Happy birthday”, церковная служба без гимна?» (с. 512)) трудно считать весомым аргументом.

Книгу заключают два самостоятельных текста. Первый из них – послесловие переводчика и научного редактора книги Е.Н. Панова – выдающегося этолога, внесшего громадный вклад в изучение СКЖ (см. его последнюю монографию [Панов 2012]). Поскольку Панов – убежденный сторонник идеи качественной грани между языком и СКЖ, книга Фитча ему чрезвычайно не нравится. Должно быть, тяжело переводить текст, к которому испытываешь столь активную неприязнь! Выступая в роли не только переводчика, но и научного редактора, Е.Н. Панов проделал громадную работу по комментированию мест, многим читателям недостаточно понятных. Во многих комментариях он не скупится на критику Фитча.

Главный постулат автора Панов называет «меризмом» – попыткой свести целое (язык) к его частям, убедить читателя, что новая система была собрана из старых компонентов. Панов же – приверженец холизма (представления о том, что целое не сводится к сумме частей). Например, его возмущают попытки Фитча усмотреть структурные и функциональные аналогии между опусканием гортани у людей, оленей и львов: «степень наивности и искусственности

подобных параллелей повергает в полное изумление» (с. 665). Столь же абсурдной кажется ему и попытка сопоставить структуру песни кита с поэзией, гипотетический музыкальный протоязык – с пением птиц («почему бы и не со стрекотанием кузнечиков?») – саркастически спрашивает Е.Н. Панов). Особый гнев у него вызывают теории социобиологов и когнитивных этологов – и те и другие он называет «интервенциями дилетантов», признавая, впрочем, что вторые, в отличие от первых, в той или иной степени базируются на практическом опыте. «Представления Фитча о поведении и коммуникации животных – это эклектическая смесь натурфилософских догадок Дарвина и догматов социобиологии и когнитивизма» (с. 670). Отстаиваемая автором гипотеза «музыкального протоязыка» кажется Панову совершенно неубедительной. Сам он склоняется к сальгационной теории Д. Бикертонна, основанной на идее креолизации пиджина – лексического протоязыка. Думаю все-таки, что, несмотря на диаметрально противоположность их позиций, и автор книги, и ее переводчик-редактор способствовали движению науки о глоттогенезе к далекой цели – реконструкции возникновения языка.

Второй текст, завершающий книгу, принадлежит А.Д. Кошелеву [2013]. Это не столько комментарий к книге Фитча, сколько самостоятельный лингвистический трактат, посвященный когнитивным подходам к развитию языка в онтогенезе и – по биогенетической аналогии – в филогенезе. Главная мысль автора состоит в том, что переход от протоязыка, включающего лишь однозначные слова (как у ребенка 2,5–3 лет), к полноценному языку, в котором к прямым значениям прибавились косвенные (как у ребенка 3–4 лет), произошел у «позднего *Homo sapiens*». К трактату приложены замечания компаративистов – А.С. Касьяна и Г.С. Старостина.

Говоря о «позднем *Homo sapiens*», А.Д. Кошелев имеет в виду вывод С.А. Старостина и представителей его школы, что общечеловеческий праязык возник не раньше 40–50 тыс. лет назад. Действительно, лексико-статистические реконструкции не позволяют проникнуть глубже. Но из этого вовсе не следует, что более ранние люди были лишены полноценного языка. В самом деле, где реконструированный глоттохронологами общечеловеческий праязык мог возникнуть, если верна его предполагаемая дата? Во всяком случае, не в Африке. По данным генетики, одна из сравнительно поздних ветвей сапиенсов окончательно ушла оттуда в Евразию заведомо раньше 50 тыс. лет назад, после чего межконтинентальные связи практически прервались вплоть до недавних веков (сводку данных см. в [Козинцев 2013б]).

¹⁰ В переводе он именуется «Джесперсеном», что немного странно, учитывая, что издатель книги и автор послесловия – лингвист, которого переводчик (биолог) благодарит за советы.

В Евразии такой праязык, следовательно, возникнуть тоже не мог. Никаких иных мест для его возникновения не остается.

Разрешить эти противоречия будет легче, если учесть, что языки вымирают. Вымирают, конечно, и популяции, и генетические линии, но гораздо медленнее. Приведу пример с оценкой древности нашего общего предка («африканского Адама») по **Yхромосоме**. Еще совсем недавно генетики говорили о 100 тыс. лет – это почти вдвое меньше древности «африканской Евы». Лишь в 2011 г. древность Адама увеличилась до 140 тыс. лет, а в 2013 г. – до 338 тыс. лет [Mendez et al. 2013, см. antropogenez.ru/article/682/]. Произошло это благодаря обнаружению прежде неизвестных древнейших африканских гаплогрупп. Найти такую гаплогруппу хотя бы у одного индивидуума оказалось достаточно, чтобы углубить реконструкцию в 2–3 раза. Компаративистам надеяться на подобные открытия не приходится, ведь нельзя ожидать, что носителем доселе неизвестного древнейшего языка окажется один-единственный человек. А так как трудно предположить, что ранние сапиенсы, создавшие великолепную культуру верхнепалеолитического типа на юге Африки минимум 75 тыс. лет назад, были лишены полноценного языка, приходится заключить, что предлагаемые компаративистами оценки очень сильно занижены.

Отношение А.Д. Кошелева к иным способам реконструировать эволюцию языка видно из следующих высказываний: «Надежд на традиционные способы преодоления внутри- и междисциплинарного антагонизма когнитивных наук нет никаких... Дискуссии, нередко возникающие между представителями различных научных школ, как правило, оказываются бесплодными...» (с. 713). Что ж, будем надеяться, что это все-таки преувеличение и поблагодарим автора, переводчика-редактора и издателя за созданную их совместными усилиями ценнейшую книгу, доступную теперь русскому читателю.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бурлак 2011 – С.А. Бурлак. Происхождение языка: факты, исследования, гипотезы. М., 2011.
Бурлак 2013 – С.А. Бурлак. Происхождение языка: разные подходы // Антропологический форум. № 19. 2013. <<http://www.intelros.ru/readroom/antropologicheskiiy-forum/ant19-2013/22387-proishozhdenie-yazyka-raznyepodbody.html>>
Выготский 2005 – Л.С. Выготский. Конкретная психология человека // Психология развития человека. М., 2005.
Гердер 2007 – И.Г. Гердер. Трактат о происхождении языка. М., 2007.

Козинцев 2013а – А.Г. Козинцев. Зоосемиотика и глоттогенез // Антропологический форум. № 19. 2013. <https://www.academia.edu/4741075/_2013_>
Козинцев 2013б – А.Г. Козинцев. Происхождение и ранняя история вида *Homo sapiens*: новые биологические данные // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. К 70-летию академика А.П. Деревянку. Новосибирск, 2013. <https://www.academia.edu/4740864/_Homo_sapiens_2013_>
Кошелев 2013 – А.Д. Кошелев. Когнитивистика перед выбором: дальнейшее углубление противоречий или построение единой междисциплинарной парадигмы // У.Т. Фитч. Эволюция языка. М., 2013.
Панов 2012 – Е.Н. Панов. Парадокс языковой непрерывности: Языковой Рубикон. О непреходимой пропасти между сигнальными системами животных и языком человека. М., 2012.
Томаселло 2011 – М. Томаселло. Истоки человеческого общения. М., 2011.
Фридман 2012 – В.С. Фридман. От стимула к символу: Сигналы в коммуникации позвоночных. М., 2012. Вып. 2.
Cartmill et al. 2012 – E.A. Cartmill, S. Beilock, S. Goldin-Meadow. A word in the hand: action, gesture, and mental representation in humans and non-human primates // Philosophical transactions of the Royal society. Ser. B. 2012. V. 367 (1585).
Dohrn 1875 – A. Dohrn. Der Ursprung der Wirbelthiere und das Princip des Functionswechsels: Genealogische Skizzen. Leipzig, 1875.
Fitch et al. 2005 – W.T. Fitch, M.D. Hauser, N. Chomsky. The evolution of the language faculty: Clarifications and implications // Cognition. 2005. V. 97. № 2.
Harris 2007 – R. Harris. Concepts where there are none // The Times higher education supplement. 2007. 26 October. <http://www.timeshighereducation.co.uk/310941.article>
Hauser et al. 2002 – M.D. Hauser, N. Chomsky, W.T. Fitch. The language faculty: What is it, who has it, and how did it evolve? // Science. 2002. V. 298. № 5598.
Mendez et al. 2013 – F.L. Mendez, T. Krahn, B. Schrack et al. An African American paternal lineage adds an extremely ancient root to the human Y chromosome phylogenetic tree // American journal of human genetics. 2013. V. 92. № 3.
Tallerman, Gibson 2012 – M. Tallerman, K.R. Gibson (eds). The Oxford handbook of language evolution. New York, 2012.

А.Г. Козинцев

Сведения об авторе:

Александр Григорьевич Козинцев
Музей антропологии и этнографии РАН;
СПбГУ
agkozintzev@gmail.com